

The background of the entire cover is a photograph showing the silhouettes of a man and a young boy standing in profile, facing each other. The man on the left is wearing a long coat and a hat, while the boy on the right is wearing a shorter coat. They are standing on a cobblestone floor in front of a textured wall. Dramatic lighting from the side creates strong shadows and highlights, casting patterns on the wall and floor.

АЛЕКСАНДР
ДАВЫДОВ

ЛЮБИМЫЙ
ПАСЫНОК
ЖИЗНИ

18+

ЧЕТЫРЕ МОНОЛОГА

Самое время!

Александр Давыдов

**Любимый пасынок
жизни. Четыре монолога**

«ВЕБКНИГА»

2026

Давыдов А.

Любимый пасынок жизни. Четыре монолога / А. Давыдов —
«ВЕБКНИГА», 2026 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-2679-4

Эта книга написана человеком, прожившим долгую жизнь и в уже весьма зрелые годы старающимся ее осмыслить. Однако это не мемуары, а художественное произведение. Состоит книга из четырех частей. В трех из них автор как бы передает свой голос героям-рассказчикам, поставленным в исключительные, даже фантастические обстоятельства. Последняя же часть, по его признанию, «написана почти от своего имени». Однако тут судьба не только личная, но и всего поколения, которое сменяющие одна другую эпохи то «жаловали», то отторгали. Потому и себя, и своих современников схожей судьбы автор назвал «любимыми пасынками жизни».

ISBN 978-5-9691-2679-4

© Давыдов А., 2026

© ВЕБКНИГА, 2026

Содержание

К пристальному читателю	6
Любимый пасынок жизни	7
Обнаженная душа	7
1	7
2	9
3	11
4	12
5	14
6	16
7	20
8	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Александр Давыдов
Любимый пасынок
жизни. Четыре монолога

■ серия ■
«самое время!»

Серия «Самое время!»

Художественное оформление
Валерий Калныньш



© Александр Давыдов, 2026

© «Время», 2026

К пристальному читателю

Судя по всему, автор этого опуса в четырех частях хотел бы стать композитором, чему, однако, помешало, по собственному признанию, отсутствие музыкального слуха в его расхожем понятии. Говорит, что чувствует музыку, словно помимо нот, чутко улавливая ее глубинный смысл, ее восходящие и нисходящие токи. Здесь безусловно ощущается попытка посредством слов создать нечто вроде музыкального сочинения, возможно, симфонии. Отнюдь не звукописью, а самим построением с его лейтмотивами, повторами, перекличкой тем. Какое отношение имеет ко мне этот автор? Очевидно, что я не он, он не я, но сродство несомненно, вид и степень которого для меня самого загадка. То ли он мне давно опостылевший друг, то ли отчужденная и немного презируемая часть моей собственной личности, то ль на меня пародия, то ли я его отлетевшая душа, а он мое опустевшее тело (может, и наоборот). Или он саднящий прыщ на моем затылке, готовый хотя бы частью узурпировать мое сознание. Это и мне самому не так просто понять, поскольку персонажи будто «перетекают» из одного в другого. Отчего буду рад любой твоей догадке, пристальный читатель, возможно, тот временами мерцающий в тексте «друг», к которому и обращены эти монологи. Последний из них (кода созвучно с «кодом») написан почти от моего имени. Надеюсь, он что-то поясняет в предшествующих.

Александр Давыдов

Любимый пасынок жизни Четыре монолога

Памяти мамы

Обнаженная душа Юмористический монолог неизвестного, обращенный к другу

1

Смотрю в окно на унылый, угнетенный бедами город. Оно открывается на закат, это закатное окно, не знающее радости солнечного восхода, рождения очередного дня. Но где ж ты, ангел западного окна, который вдруг да подхватит мою руку, когда я пытаюсь оттиснуть себя на бумажном листе? (Слышал, что есть такой таинственный ангел, с которым спознаться стоит лишь только от отчаянья, поскольку он может увести в слишком опасные, но и невиданные дали.) Это уже не призванье, не залог будущего, а обязанность – где еще останется след моей жизни, как не запечатленный на листе бумаги? У арестанта снимают отпечатки пальцев, как мы знаем, всегда уникальные. А в наших душе, разуме и чувстве так ли уж много истинно уникального, исконного, коль все мы буквально наспигованы чужим и всеобщим – расхожими мнениями, внушенными понятиями, необходимыми нормами общежития и так далее, так далее?

Вот и я из неукротенного и неукротимого дикаря, еще и с задатками вожака, каким был в юности, вокруг которого, однако, словно витало вдохновение, превратился в довольно-таки цивилизованную личность, живущую по принятым в обществе законам, нормам и правилам, то есть в почти банальность. В ту пору я был исполнен дерзновенности, во мне был яростный замах и почти полное отсутствие самокритики. Я был готов дерзнуть на что угодно. С годами же воспитал в себе некую опрятность, – также и в мысли, и в чувстве, – которой почти гордился. Стал вполне самокритичен, что весьма достойно, истинно христиански. Но ведь это, можно сказать, смирило, заузило прежде мне свойственный размах, пусть и на грани истерики. Может, напрасно я так старательно выскребал абсурд из своих, скажем, интеллектуальных формул, потому у меня в жизни, как и в мышлении, не всегда сходились концы с концами: он меня подстерегал там и сям, подчас сметая мои умственные конструкции, будто карточные домики. Возможно, моя буйствующая мысль подчас исходила из ложных посылок, но, как я убеждался не раз – из неверных посылок можно сделать глубокие выводы, а верные подчас приводили к столь пошлой правде, что я к ней испытывал даже брезгливость.

Теперь моя жизнь становится все сугубей, концентрируется донельзя, коль убывает срок мне отпущенных лет, что призывает к особой ответственности за любое слово и жест. «Ну и каково?» – спросишь, друг мой. «Так себе», – отвечу. Моя мысль превратилась в конструкцию почти одинаково жесткую с машинкой для производства глубоких смыслов, мною некогда опробованной, о которой скажу потом. Она потеряла напевность. А ведь я когда-то ее сравнивал с нотой жаворонка, выпетой в небесную синь. Прежде мне подчас удавалось будто выпорхнуть мыслью за грань наличного содержания, хоть на миг заглянуть в истинную новизну, а теперь вот не получается. И моей душой исподволь овладевает старческая негибкость. Боюсь,

только ей и останется, как перебирать кубики того самого, уже опостылевшего наличного содержания.

Я подчас страстно призывал демонов моей молодости, опасных, конечно (риск меня до сих пор бодрит), к тому ж несущих непокой и душевную смуту, но исполненных жизни, истинно человеческих страстей. Но те то ли скуksились с годами, что ль, поизносились, как многое, прежде полнокровное, увяло и выхолостилось во мне и вокруг меня. Я ведь уже некоторое время чувствовал, что ко мне притулилась унылая ведьма, называемая Старостью, постепенно прибирающая все мои человеческие свойства, как лучшие, так и худшие, их пряча под свой затрапезный подол? И что б от меня осталось? Лишь схема чувств, потерявших чувствительность. Кажется, это твои прежние слова, друг мой, уж не помню по какому поводу, но теперь для меня точные. Впрочем, в те годы у нас с тобой была словно одна голова на двоих и единая душа. Мы с тобой нередко поминали Черную матушку, словно даже кичась друг перед другом своей отвагой пред неизбежным, но нам обоим не хватало мужества даже помыслить о серой мачехе, теперь уже накинувшей прочный шнурок нам на шею (подозреваю, что она у нас и теперь одна на двоих).

Сейчас, в общем-то, даже отчасти жалею о своей прежней дикости, бесцельном бунтарстве, но ведь я и слишком часто разменивал чистое золото мысли и духа на медяки повседневности. Напоминаю себе: если уж решил себя оттиснуть на бумаге, необходима осторожность и бдительность, а то ведь в результате обнаружишь перед собой лист, исчерканный пустоপরжними закорючками. Хорошо знаю, что писчая бумага только с виду незапятнанно чиста и будто предоставлена любому письму, на самом же деле она вся невидимо испещрена предзаданными канальцами, облекающими любой рык, отчаянный вопль, экстатический восторг благообразными словосочетаниями, которые уж точно не музыка, а литература, причем посредственная. Беда, что уже давно во мне утвердился литературный навык. Погляжу, бывало, на мной исписанный лист, и тошно делалось. Все до единого словечки ладно выстроились, как войско на параде. Но это именно торжественный смотр, а не баталия (прежде-то они словно совершали партизанский набег на пугливые смыслы). А себе я казался не их военачальником, а разве что бывшим полководцем, отправленным в резерв на должность какого-нибудь инспектора. Внушить словам дисциплину это вовсе не то, к чему я стремился. В прежние-то времена, когда я был дик и вдохновен, мои слова напоминали расхристанную орду, охваченную подчас божественным безумием. (Иногда множил слова, балансируя на грани бессмыслицы, с трудом удерживаясь на гребне фразы, как сёрфер на бурливой волне. Некоторые из них напоминали астматический выдох только мне ошутимого смысла.)

Вряд ли мне, теперь укрощенному жизнью, вновь доведется стать коноводом дикой ватаги слов и понятий с ее паникой, но и сладострастием мысли и чувства, которые невозможно симулировать. (Подчас мне казалось, что моя лингвистическая сеточка для улавливания образов и вовсе прохудилась. Надо б ее подлатать, но, видно, я так и не сумел стать хозяином слова. Если продолжить аналогию, то любой парад ритуален и его командующий тоже в плену церемониала. Кажется, с годами слово делалось надо мной все более властным: само куда-то ведет, несет, влечет, подчас и убаюкивает.) Я себе иногда представлял, как выбиваю одно за другим лишние слова из этого парадного строя. В нем появляются прорехи, бойцов становится все меньше. Но что будет сквозить в тех пустотах? Обнаженный ли смысл, не требующий слов, иль равнодушная вечность, всеобщее достояние? Но я знал, что никогда не решусь на это: пусть будет хоть что-то, чем совсем ничего.

Но не буду ж я симулировать безумие, что явная пошлость. Мне теперешнему было б недобросовестно, как нахальному мальчишке, вываливать на чистый лист бесформенную грудку своих страстей, страхов, комплексов, надежд. Ныне такой навал способен озадачить самого автора. Теперь мне доступен иной способ письма: отвеяв случайные порывы чувств, явить себя

в собственной истине, притом не забывая, что она текуча. Таково свойство зрелости, и нечего тосковать о прежнем.

Даже странно, что я замарал лист этим напрасным сетованьем, которое тоже банальность, тогда как мне всегда было гадко любое нытье, – уж не говоря о банальности. Конечно, пока написанное не стало, так сказать, общим достоянием, автор над ним волен. В отличие от, увы, собственной жизни, написанное, тем более когда оно свежо, с пылу с жару, доступно радикальному перетворению. Все ж не пойду этим дурным путем. Еже писах писах. Не стану и дальше вымарывать неожиданные проблески чувства. Они-то уж наверняка подлинны среди обилия ложного, даже если облечены чужими словами. Не зря ведь для выражения всего разнообразия наших зыбких, трепетных эмоций язык предлагает лишь горстку междометий, – да и тех оказалось слишком много, нынче вполне хватает универсального «ва-у!».

2

Ясно, чтобы придать написанному какую-никакую занимательность, стоит его изложить в виде некоей истории, сюжета, то есть для вящей достоверности облечь вымысл. Сколь бы ни был условен сюжет, пожалуй, это и моя личная потребность, себя явить в некоем обрамлении, как картина нуждается в рамке, без которой она всего лишь холст. Причем сразу очертить ее размер, как делает художник, себя жестко ограничив подрамником. Моего нынешнего дыхания уже не хватит на роман, разве что на повесть. (Да и время уже подгоняет. Теперь садиться за эпопею было б с моей стороны слишком отчаянным оптимизмом. Но зато я ныне всегда пребываю в, можно сказать, сгущенном чувстве, что способствует письму, поскольку любой день может стать для меня трагическим или кануном трагедии, которая неизбежна. Я даже имею право, гордо выпятив грудь, изобразить свое обреченное противостояние року, что достойно героя пусть только личной трагедии.) Рассказ же мне тесен, да я и всегда был неспособен к мгновенному выплеску сюжета. Мне всегда следует его нашарить, нащупать пишущей рукой, чтобы потом ухватить его крепко, притом что он всегда норовит уйти сквозь пальцы. (Не уверен, что теперь я способен отыскать сюжет в общепринятом смысле. Ну пусть будет не рама, а багет или даже просто виньетка.)

Кому явить? Собственно, и пишу-то для себя самого. Для кого еще? Ну конечно, еще и для тебя, друг мой, но мы с тобой уже потеряли взаимную границу. Остальные же подхвачены злобой дни, в плену своих бед и забот, собственного бреда и напрасных иллюзий. Что им до чужого? Разве что способны оценить надежду и улыбку, даже испытают за нее благодарность. Я раньше был улыбчив, теперь же моя улыбка скорей напоминает гримасу, в которой опыт жизни и отчасти невеселое прозрение будущего, – надо сказать, что мое зрение стало с годами больше ретроспективным, чем проспективным.

Однако чувство юмористичности мира (пусть это и черный юмор) меня так и не оставило, помогая существовать. (Что поделать, коль все мы чуть дурацкие, немного смешные существа? Уже поэтому Вселенский субъект, в которого я всегда верил, наверняка усмехается, на нас глядя, надеюсь, не язвительно, а скорей, жалостливо. Ведь не только наши в той или иной степени корявые жизни, но также умственные потуги способны вызвать лишь такую вот язвительно-жалостливую усмешку.) Надо признаться, что я, по натуре экспериментатор, всегда норовил проверить жизнь на вшивость, подчас безжалостно и к себе, и другим. Теперь эксперимент в поступке стал для меня почти невозможен: не то чтобы на старости лет так уж замучили хвори, однако ж охватила, что ли, моторная лень, в которой повинен возраст, – и по этой причине уже неизбежная. Сейчас мне доступен эксперимент только в сфере мысли и чувства, чему необходимое подспорье – бумажный лист, к которому меня всю жизнь влекло, но которого я и страшился.

Я уже провел пару опытов над самим собой, причем довольно-таки безжалостных. Себя представил в нечеловеческих, фантазийных условиях: что, самоизолировавшись от всего человечества, пытался перетворить Вселенную посредством некой игры без правил; или что вдруг обрел кроме своей постаревшей физиономии младенческий лик на затылке (позже, наверно, расскажу те истории подробно). Это лишнее доказательство, что я не потерял с годами чувства юмора, правда, ставшего целиком саркастическим, – так что лишь немногие смогут почувствовать, что эти мои порывы письменности именно что комедии. Не божественные и не человеческие; а, не сумев подобрать достойного наименования, назову их «субъектными», хотя сам отнюдь не до конца понимаю это определение.

Эти отчасти комические опыты над самим собой меня выворачивали наизнанку, часто являя тайное и для меня самого. Но тогда и весь мир начинал кривиться карикатурой. То была не только лишь попытка моего ответа на подчас жесткий юмор мироздания, но в таком скривленном виде в нем иногда выпячивалось главное, иль, по крайней мере, сугубо характерное, и скрадывалось случайное. Пусть лишь только для меня одного.

Мои эксперименты были не просто выдумкой, а родом наваждения, сном наяву. Перетворяя мироздание на экране компьютера, я и впрямь себя чувствовал, хотя и мизерным, но демиургом, а, вообразив двуликим Янусом, подчас ощущал вторжение «заднего» взгляда в мой привычный, передний. Эти наваждения подбирались ко мне исподволь, постепенно овладевали мыслью, овладевали чувством. В конце концов становились неотвязны, начинали разнообразно корезить мою жизнь. Единственным средством от них избавиться было предать их бумаге. Причем сделав довольно-таки наивную увертку: подменив автора неким все-таки выдуманным персонажем. Не то чтобы вовсе вымышленным, но так или иначе замаскированным, хотя и, надеюсь, не фальсифицированным. Короче говоря, я отступал от себя хоть на шаг, хоть на полшага, – что в любом случае полезно, ибо себя мог наблюдать как бы извне. Верно ведь, друг мой? Наши-то с тобой соотношения подчас напоминали переключку зеркал.

Теперь во мне созревало очередное наваждение. Вдруг представилось, что я вовсе избавлен от собственного тела. Любопытный морок, но и объяснимый: с каждым прожитым годом душа и тело теряли прежнее между ними согласие. Не то чтобы полное, но диалектическое. Тело подчас пригнетало душу как своими законными требованиями, так и незаконными соблазнами. Душа же всегда норовила его укротить. В конечном счете это была, скорей, продуктивная жизненная диалектика. Душа и тело до поры мужали обок друг друга. Теперь же тело становилось обузой. Душа еще надеялась на обретения, а тело ждал неизбежный, предписанный законами природы упадок. Оно еще и навязывало душе свои старческие привычки и ущерб, вроде тщетной дальнзоркости вкупе со слепотой на ближайшее. К тому же, лишившись тела, освободишься от уже ставшего нудным, можно сказать, опошленного существования; наконец выпутаешься из тенет прискучивших навыков, привычек и жизненных обстоятельств. На вопрос, не придется ли мне пожалеть о потерянных уладах плоти, признаюсь, искренне мог бы ответить, что мне давно уж наскучила страсть, обернувшаяся рутиной с ее ложными экстазами, которая стала даже обременительной. То есть подобный вид кастрации мне виделся куда меньшим огорчением, чем если б это случилось хотя бы полдесятилетия назад. Пришла жизненная эпоха, когда на смену грубым в своей откровенности страстям заступили мысль и совесть.

«Куда ж торопиться, коль душа и так в назначенный срок расстанется с телом самым естественным путем?» – мне подчас нашептывал мой неизбывный внутренний подголосок, прагматик и скептик, с которым я то дружил, то ссорился. Его назову своим ангелом-хранителем. Но если так, то даже чересчур заботливый. Преисполненный здравомыслия, он всегда меня призывал «подстелить соломку», то есть избегать жизненного риска, а пуще всего героики, к которой я был склонен, по крайней мере, в своем воображении. Он произносил почти те же слова, что прежде родные и учительствующие, меня старавшиеся применить к жизни.

Правда, был не столь категоричен и назидателен. Поучал мягко, я б сказал, вкрадчиво, будто невзначай, что куда более действенно, учитывая мою неприязнь к любого рода поучениям. Надо признать, голос всеобщего здравомыслия меня кое-чему научил, но и сам с годами усовершенствовал свою педагогику.

Что ж ему ответить? Что загробная жизнь все-таки гадательна, даже если преисполнен веры и надежды? А мне хотелось бы еще в земной жизни, избавившись от всего наносного и привнесенного, попытаться себя ощутить в своей истинной сути и одновременно взглянуть со стороны на бытование своей плоти в ее повседневности. Именно так я изложил своему подголоску это желание в рациональной форме, конечно, зная, что любое стремление, позыв, порыв несоразмерны их рациональному истолкованию: это общее место. Мой внутренний критик на это не возразил, а только скептически хмыкнул. Я не хуже него понимал, что эксперимент рискован. Отпущенная на волю, душа может затеряться во вселенской безбрежности, да еще неизвестно, куда ее занесут нам неведомые ветры. Но мне казалось, что лучше любой исход, чем, неразлучному с телом, мне потихоньку дотлевать в своих воспоминаниях о былом, запоздалых сожалениях, вялых, потому как бесполезных для жизни размышлениях, поскольку мое будущее теперь скукожилось до какой-то никчемной культи. И конечно, изошряться в самооправданиях, себе доказывая, что моя судьба в целом была неизбежна, потому неподсудна.

3

Жизнь души без тела мне представлялась существованием вольным и чистым, лишь в мысли и искреннем чувстве, не опошленном обязанностями бытования и нуждами всё грузнеющей плоти. Я всегда был очень даже падок на ее приманки, но и переживал грязцу обихода, присущую среднему человеку и обобщенному человечеству, как мне казалось, противную моему жизненному призванию. Другой вопрос, заслужил ли я почти ангельское состояние по своим многим, хотя и мелким грешкам, невеликим заслугам и кисловатым добродетелям. Однако я среди всех искусов бытия и жизненных разочарований всегда верил в безмерность Благодати. И еще, так сказать, в креативность своей фантазии, мне подчас позволявшей преобразовывать меня окружавший мир в нечто странное, род мифа или, бывало, притчи. Иначе я б просто задохнулся в универсуме необходимых нужд, рутинных обязанностей и разнузданных страстей.

Да, надо сказать, что и жизнь нынче сделалась будто пластична. Раньше строго соблюдавшая предустановленные законы и обычаи, весьма предсказуемая, коль в ней с годами освоиться, теперь словно готова подстроить каверзу, выкинуть какой-то изошренный фортель, устроить невесть какой выверт, что посрамит наш здравый смысл, уже поистертый, потрепанный, не в полном смысле здравый, а будто подхвативший глобальную, а может, и вселенскую хворь вроде повального гриппа. (Да, собственно, мы ведь и знать не знали, в какой мир явлены. Он был изначально странным. Его странность лишь с годами укротила привычка, или, можно сказать, профанировала. И ты ведь, друг мой, когда нам с тобой случалось «попадать в непонятное», как выражался мой приятель вор в законе, – милейший, надо сказать, человек вне своей профессии, – восклицал: «А что в этом мире не странно, что понятно?» Но привычка – великая сила, позволяющая все новое в результате принять, ко всему «привоняться».) Опасное, опасное нынче время, но и призывающее к переоценке всего, что скоплено человечеством за десятки тысячелетий, то есть к небывалому творчеству, глобальному эксперименту над человеком, который мне и не снился. Другой вопрос, останется ль на Земле хоть кто-то, чтобы извлечь из него урок.

Отчуждать и отчуждаться от всего, что ни есть, – это свойство моей натуры, как я считал, залог ее незаурядности. Допущу, что я всегда незаметно для себя уклонялся от любых ко мне простертых объятий, – кто ведь может быть уверен в их чистосердечии, глядишь, обернутся

удавкой. Временами казалось, что век меня действительно готов усыновить, что современность мне стала уже почти родная, но я, как неукротимо капризное дитя, разбрасывал все мне подаренные игрушки-погремушки, отмычки и золотые ключики. Отрекался также и от советов здравомыслия, формальную правоту которых был вынужден признавать. Оттуда и желание вырваться из собственной плоти, подвластной закону, в область предполагаемой свободы. Да и мир, уже говорил, ныне стал гнусен, теряя свое хотя бы внешнее благообразие. Мне даже подчас приходит кошунственная мысль: не оплошность ли он какого-то беспечного демиурга? Прочь эту мысль, прочь!

Напомню, что прижизненное разлучение души и тела – случай хотя и редкий, но не сказать что уникальный. Бывали святые временно «восхищены» на небеса (это мне точно не грозит), но и, помнится, инквизиторы допытывались у ведьм и ведьмаков, участвовали ли они в шабашах телесно или *in spirito*, что, однако, вовсе не уменьшало их вину. Слышал и о прижизненном отделении астрального тела, чему могли способствовать некие практики. Однако в своем эксперименте я вовсе не намеревался прибегнуть к обряду, уже известному или самоизобретенному. К чему? Литература (а я верю в существование некой литеросферы, где она пребывает в своей очень даже настойчивой реальности) уже бесчисленно разлучала душу с телом лишь мановением пера. А с бестелесными сущностями я и сам имел некое общение. Издавна, в очень древние для меня времена, можно сказать, в моем средневековье, за несколько эпох до нынешней поры, когда я тогдашний имел довольно мало сходства со мною теперешним, мне часто виделись сны об ангелах или неких безымянных духах. (Я с ранней юности испытывал интерес к подобным сущностям, которые – не добро, не зло, но о них скупое сообщали даже прославленные визионеры и мистики. Пришлось их познавать непосредственным чувством.) И наверняка неспроста, – ведь и их можно считать отчужденной, легкокрылой частью моей личности, тогда грузной и буквально раздираемой разнообразнейшими страстями. Таким образом я начал уже давно осваивать опыт бестелесности, его оттискивая на бумажных листах, видать, не без участия тех самых крылатых сущностей, ибо подчас даже моя созидаящая рука будто покрывалась пернатым подшерстком, впрочем, не всегда белоснежным, и мною написанное подчас напоминало коллекцию уловленных бабочек. (Надо сказать, я редко отваживаюсь перечитать написавшееся, этот слишком экзальтированный оттиск давно изжитых чувств, а когда пытаюсь, испытываю стыд от слишком явного самообнажения и даже почти омерзение к нему.)

Мой пугливый «хранитель» мог бы меня спросить, как же я представляю земное существование своего покинутого душой тела? Тело без души ведь называется «труп», от коего слова даже смердит тленом. Как я уже напомнил, существование души без тела имеет прецеденты. Но ведь несравненно больше случаев бытования обездушенных тел, живущих только привычкой. Стоит подчас взглянуть на некоторых своих современников, и просто жуть берет: пред тобой суетливый мертвец, лишь имитирующий существование – иногда очень даже умело и достоверно. Но мое чутье на любую фальшь он все-таки не обманет. Может, и их душа, так я иногда думал, отлетев, теперь витает в неких просторах, а тело терпеливо дожидается гражданской панихиды с положенными славословиями. Да и мое собственное тело довольно скопило навыков, привычек, опасок. Короче говоря, всего, что необходимо для бездушного обитания в мире. Да и ошметков мысли, которые, однако, не ум и не разум, так сказать, запечатленных телесно, – к нему, фигурально говоря, прилипших, – ему хватит для достоверной симуляции жизни. В этом я был почему-то уверен.

4

Не скажу, сколько времени потребовалось новоявленному мороку, чтобы созреть и уже воплотиться (внедриться?) в почти реальное существование или, скажем, заполнить всю сферу моей жизни, изгнав к нему непричастное за горизонт бытия. (Поскольку это нераздель-

ное время созревания замысла, с собственным ритмом, замираниями и быстринами.) Разумеется, я неточно выразился, однако не стану ни вымарывать слегка взлохмаченную фразу, ни искать более точное определение. Все равно бесполезно, да и вовсе тщетно, ибо истинную странность не стоит пытаться обратить в полупонятность. Для меня это закон литературы, как в математике невозможно любое число разделить на ноль.

Моя душа потихоньку отходила из надоевшего тела и постепенно изошла без остатка. (Эксперимент начался сам собой, без моей отмашки, как, впрочем, у меня всегда бывало. Или вот еще какая ироническая мысль: «Может, это меня “сглазило” зрение обобщенного человечества, которое меня проглядело насквозь, до прорехи в ткани всеобщего существования, в результате чего я стал совершенно привычен для всех ближних, а также и слегка отдаленных, ими исчерпан, неинтересен, ожидаем во всех своих словах и поступках, стерт до полной банальности. Ведь и я, пожалуй, таким точно образом сглазил едва ль не все человечество».) Кажется, успел сказать, что моя жизнь с годами почти превратилась в рассуждение, а по моей давней догадке (а может, где-то вычитал; когда набит знаниями, трудно отличить свое от чужого, но хорошо усвоенного) любое рассуждение в результате утыкается в парадокс. То есть коль моя бестелесность и парадоксальна, это был ожидаемый парадокс.

Можно сказать, что я обратился в чистый субъект, а мое тело теперь стало объектом. Не очень, надо сказать, привлекательным, – в зеркалах я выглядел куда получше. Но тут чему удивляться, коль мы туда глядимся, приосанившись, невольно позируя? Я вовсе не склонен собой любоваться, но долгие годы был удовлетворен своим зеркальным отражением, его полагая достоверным, – лишь последнее время оно стало горчить. (В самокритичные минуты – обычно, с похмелья, – я внутренне восклицал: «Ну и мерзкая рожа!» – что, впрочем, было явной несправедливостью.) А тут мне предстал чистокровный факт – стареющая плоть, еще не вовсе одряхлевшая, но уже в очевидном упадке. Довольно убогое зрелище. Оно б меня могло привести в смятение, но для меня любой факт не бывал неуклонным и непреклонным, то есть стопроцентно фактичным. Тому причина – дурное свойство постоянно мыслить, какой-то неуёмный умственный зуд, меня в результате издавна лишивший свежести и точности восприятия жизни. В результате всякий жизненный факт мне представал будто в туманной дымке различных соотношений и всяких умственных манипуляций. (Признаться, так даже истина бывала со мной стыдлива – никогда не являлась нагой, соблюдая приличие, а всегда в туманном флёре.) Притом это обмысливание, можно сказать, вылизывание мыслью всего что ни есть не бывало намеренным, а будто спонтанным, как необходимая секреция предназначенных для того органов. Разумеется, это не лучшее свойство, путавшее мою жизнь, лишив ее простосердечия, каковой дар отпущен большинству насельников мира сего мне на зависть.

Однако тут и преимущество – я никогда не врезаюсь с маху в очередной выверт существования, а то бывает словно самортизировано мышлением. Самые из них коварные, даже трагические, не способны меня ввергнуть в панику; если и пугают, то лишь на миг, потом же бывают укрощены помянутыми соотношениями, как бы оправлены контекстом общечеловеческой мысли, их позволяющей толковать и так и эдак, ибо та скопила бесчисленное количество теорий, мнений и умственных уверток. В этом присутствует даже некоторое эрзац-мужество пред лицом человеческой трагедии. По крайней мере, так мне приятно думать.

Признаюсь, что как-то, устав от постижений чужой наимудрейшей мудрости, разноречивых мнений, которые подчас вступали одно с другим в истеричную перебранку (при таком переизбытке противоречивых знаний мне было невозможно сформировать общую теорию существования без очевидных изъянов), я себе нашел успокоительную игрушку, придуманную давним мыслителем, видно, изнывавшим от приеизобилия собственной и чужой мысли. По его схеме я заказал своему рукастому приятелю довольно простую машинку из пяти подвижных концентрических дисков, на каждом из которых располагались понятия со своим уровнем обобщения. Можно сказать, получилась машинка квазиуниверсального познания. Вращай ее

кольца, и сложится почти бессчетное количество наиумнейших сентенций, способное исчерпать всю философскую мысль человечества. Выходило, что больше не надо понуждать свой ум к измышлению (или гармонизации) общих теорий, коль все они уже как бы предсуществуют в этой интеллектуальной рулетке. Я некоторое время развлекался той машинкой, дивясь ее механической мудрости, все будто обдумавшей наперед даже вовсе без мыслительного усилия. Удивлялся неожиданности и блеску многих ее смылосочетаний. Впрочем, эта игра была чересчур рациональна, чтоб не послужить манком для мирового безумия, которое, кажется, я вновь попытался вынести за скобки. Машинка была сверхрациональна, но сам замысел очевидно абсурден. В конце концов, себя укорив за этот род «умственного дезертирства», я ее утопил в соседнем тинистом прудике, чтоб не было соблазна к ней когда-либо еще прибегнуть. Собственно, эта псевдомудрая машинка была прообразом искусственного интеллекта, о котором нынче множество разнотолков. Кажется, и все человечество, переутомленное своим многоумием (нынешний мир будто набит мыслью до отказа, а если кто не чужд героического энтузиазма, он почему-то всегда разрушителен), готово передоверить мышление электронному прибору. Жутковатому, надо сказать, – ведь совесть ему никак не передоверишь (знакомый программист меня уверял, что и ее можно смоделировать, но сомневаюсь, ибо она самое отзывчивое, то есть истинно живое в нашем естестве), а от безудержного умственного прагматизма не жди пощады, которую можно было вымолить даже у идолов древнейшего человечества. Даже тех можно было улестить дарами и заклинаниями.

И вот еще, что важно. Допустим, этот отчужденный интеллект будет вовсе лишен эмоций и свойственных человеку психологических комплексов, потому в своем мышлении строго логичен и непредвзят. Но притом ведь в него будут заложены разработчиками некие политические и социальные взгляды, как и этические принципы в качестве основы его беспощадного здравомыслия. Учитывая подчас деструктивность современного передового интеллектуализма, может получиться монстр оголтелой политкорректности в ее самом дурном применении. Короче говоря, к пресловутому ИИ я испытываю предваряющее недоверие. Однако не буду пророчить, хорошо зная: из чего угодно может выйти что угодно. Из добра зло – так очень даже часто, – случается и наоборот.

5

Какое же чувство я испытал, потеряв свое тело? Все же некоторое недоумение, хотя настойчивая мысль, переходящая в намеренье меня к тому исподволь готовила. Но одно дело фантазия, другое – ее столь конкретное воплощение. О потере тела можно пофантазировать, но тут ведь не умственная манипуляция, не игра мысли, не дерзкая идея, а целый вихрь чувств. Странно или нет, но среди них я не отыскал горечи. В моей жизни было несчетно потерь. Наверно, все же эта была наибольшая, – по крайней мере, таковой выглядела. Но все-таки много горше были потери родных, друзей. Эти в наиболее горьком чувстве. Но еще, бывало, я терял страну, город, вехи прежнего существования. Бывало, что самого себя целиком, – и потом отыскивал мучительно долго, чтобы найти в самом неожиданном месте.

Как-то я пытался подвести баланс своих жизненных утрат и обретений. Выходило то ж на то ж, что все-таки досадно, поскольку свидетельствовало о довольно малой эффективности жизни. Не тот ли давний подсчет меня подвиг сыграть ва-банк, небывало рискнуть? Ведь это было не просто желание избавиться от жизненной рутины, но робкая надежда обрести невиданное в тонких мирах, где дух веет, где хочет, а хрустальные истины предоставлены разуму, освобожденному от ему несвойственных забот, то есть в его незапятнанной чистоте и полной восприимчивости. Но в том, конечно, был и риск. Могло ведь случиться, что в моей, скажем, душе и нет ничего, кроме житейских наносов – тех самых привычек, внушенных мнений и различных оттисков земного бытования, – если и было, то сплыло. Мое решение, а не Судьба

ли? Не хотелось бы называть Роком, который мужского рода, потому брутален, груб, его никак невозможно улестить, и он настырно призывает к героике. В отличие от него Судьба как-то мягче, женственней, в ней всегда есть что-то ностальгичное, пассивно-страдательное, и даже сетование на ее непреклонность сопровождается покорно прощающим вздохом. Рок, он настаивает из отдаления, а Судьба всегда рядом.

И вот важнейшее преимущество моего нового состояния – взамен утраченного тела я приобрел легкость, способность витать (может быть, во мне и прежде был ее зачаток. «Все в облаках витаешь?» – глумливо спрашивала школьная училка, нанеся мне много душевных ран), то есть свободно перемещаться каким-то не физическим образом. Я не удержался, чтобы поглядеть в зеркало, которое столько лет мне льстило, а последние годы не скрывало горчащей истины, но всегда будучи обратной связью: мир – я, я – мир. Что же я увидел в этом помутневшем от времени да еще запыленном стекле, пафосно оправленном в бронзу? Да ровно ничего. Не то чтобы я себя ожидал увидеть крылатым, подобно ангелу, но все-таки обнаружить нечто пригодное для иконографии, хотя бы индивидуальной. Но нет, никакого материального доказательства моего существования в мире, ни одной к тому улики, ни единого блика на мутной амальгаме. Выходит, я стал всего только мыслящим клочком пространства, можно сказать, неким умолчанием, – многозначительным или же просто равнодушным. Я оказался полностью аннигилированным как объект, притом что, несомненно, существовал, пусть даже и недоказуемо, для кого-либо кроме лично себя, то есть чистым субъектом в его стопроцентной субъектности. Я сразу отметил, что мысль моя теперь целиком в себе и для себя, то есть вольна и непредвзята, не обремененная жизненными целями и бытовыми нуждами, которые способны сбить с панталыку даже самую мощную и упорную мысль, ее невольно заразив злобой дневи. Правда, у меня была давнишняя догадка, что записные мыслители, в сравнении с которыми я только самоуверенный дилетант, мыслят будто бы не лишь головой, а всей своей плотью, – часто и гениталиями, – что придает их мышлению особую пряность, даже подчас аппетитность, однако и ту самую предвзятость, от которой я теперь, надеюсь, избавлен.

Не скажу чтобы моя мысль обратилась в целиком непредвзятый разум, способный постичь вневременные истины. В ней еще отзывались прежние страсти – подобьем фантомных болей. Будто червячки в ней копошились ошметки прежних обид, опасений и словно б даже колыхались стяги одержанных побед. Ее еще соблазняли прежние цели, в нынешнем моем состоянии очевидно бесцельные.

Первым делом я своей теперь освобожденной мыслью попытался как бы со стороны взглянуть на всю мою жизнь, ее обобщить и оценить со строгой объективностью. Странная для меня вышла картина. Мне-то казалось, что я всегда влеком ураганом страстей и события моей жизни произвольны. Оказалось, нет, – на обобщенный взгляд, мое существование виделось хитроумной инженерной конструкцией, будто созданной по плану некоего технаря-промыслителя. Никогда б не подумал, что в ней столько логики и здравомыслия. Однако в этой наверняка правдивой картине угадывалась и некая ложь. Это была словно б не моя судьба в ее драматизме, а жесткий костяк, будто лишенный мякоти – душевных порывов иль, наоборот, тихой нежности, заблуждений и озарений, сумятицы чувств и глухой тоски, из которой я раньше прорастал не раз, как семечко из плодородного гумуса. Короче говоря, то была жизнь уже свершившаяся, без выбора, блужданий, заблуждений, ошибок и озарений. В таковом ее образе было нечто от засохшего погребального венка иль фотографии постмортем.

Лишенная прикрас, как и блужданий, моя жизнь напоминала толково сложенный агрегат. Учитывая сложность и убедительность конструкции, она предполагала какую-то цель, некое использование в более широком, меня охватывающем контексте. Вряд ли ведь этот механизм создан для чьей-то забавы. Возможно, и теперь некто или нечто меня испытует? Я, как всегда, постарался к ней применить мою теперь слишком даже вольную мысль, но вскоре понял, что, хотя мне и удалось приподняться над обыденностью, задача неразрешима с моей пока невели-

кой высоты, годной лишь для довольно узких обобщений. Признаюсь, моя судьба в целом мне виделась не сказать что несправедливой, но все-таки несовершенной. Родные мне души когда-то учредили культ моего младенчества, наделив и любовью к себе самому. Но потом сами ж меня и развенчали. Из принца я был разжалован не то чтобы в свинопасы, но в обычные подростки, объект досады, нудных поучений, а то и придинок, мне казавшихся надуманными. В результате я остался единственным хранителем и жрецом этого культа – разумеется, тайного. Последующая жизнь мне в чем-то казалась ошибкой бытия, его извращением, обманом обетования. Однако я сохранил благоговение пред младенчеством как таковым, отчего сумел принять душой Рождественскую сказку. Мой ангелок будто спорхнул с рождественской елки.

Собственно, процесс обобщения или, может быть, выхолащивания жизни начался у меня давно, с годами я терял интерес к событию как таковому. В нем лишь искал урок. Можно было это счесть наступившей зрелостью ума, если не рождением мудрости, способностью ухватывать самую суть, как бы квинтэссенцию любого явления или же процесса. Но почему б и не предстарческим ротозейством, результатом замысленности взгляда и переутомленности чувства? С некоторых пор я стал замечать, что чувства для меня стали, если можно сказать, не слишком чувствительны. Не задевали душу, а словно сочились из тела вроде испарины.

Теперь у меня даже возникло опасение, что мое нынешнее состояние и есть смерть в каком-то ее виде и облике (много ли мы знаем о смерти, когда и о жизни лишь только чуть? кто сказал, что та не многолика?), – вот ведь и призраки всегда избегают зеркал. Но если и так, то она не в ее гражданском смысле, что непременно погибель тела, подтвержденная медицинской, полицией, засвидетельствованная нотариатом. А мое тело, вот оно, передо мной, очевидно живое, с виду не потерпевшее ущерба от исхожденья души. Еще, правда, никак не испытанное бездушной жизнью, пока что спящее с неопрятными старческими звучаниями, которые не стану называть из брезгливости, – то был предрассветный час: еще не пропел последний городской петух на соседней птицефабрике, то есть пора, когда и свершается волшебство.

Но все-таки что есть смерть? Вспомнил утешительное разъяснение одного умнейшего умника, что смерть только понятие, а не личная трагедия. А с понятием можно поступать, как оно и заслуживает: соотносить с другими, понимать и перепонимать так и эдак, сделать предметом теоретической дискуссии, к примеру, выявляя его отличия в разных культурах и временных зонах; а можно и вообще угробить самую смерть, похоронив под навалом убедительнейших аргументов. Однако сейчас у меня не возникло желания оспаривать ни глупцов, ни умников, коль мое нынешнее состояние – очевидный для меня факт, который наверняка повлечет непредсказуемые последствия, ибо никак не подготовлен опытом моего земного пребывания. Оно могло быть и символом, и назиданием, но главное, что отныне стало моим образом жизни. Оставив этот вопрос, который теперь не показался мне роковым, на неопределенное «потом», я решил испытать новые возможности, то есть выгоды своего бестелесного существования. Разумеется, самая из них очевидная – способность к полету. Конечно, я не надеялся, что сразу воспарю до высочайшего эмпирея, в том была бы дерзость, почти богохульство. Собственно, не ставил никакой определенной цели, лишь хотел испытать какова она въяве, левитация моих юношеских сновидений, в которой, как говорят, не присутствует и тени психоаналитического похабства, а та означает физический рост. Теперь же, в отсутствие скелета, мускулатуры и внутренних органов, мне доступно лишь возрастать.

6

Как уже говорил, испытал ощущение легкости, а также и облегчения, себя уже не чувствуя пленником места, отчасти и времени, я решил для начала совершить пробный полет, – безо всякого дерзновения, себя вовсе не представляя Икаром, – в городских небесах, которые меня с детства манили изменчивыми белоснежными образами, будто из сахарной ваты. Я

вылетел наружу сквозь раскрытую форточку в заманчивый мир, где уже вызревала весна. Воспарив, я с удовлетворением убедился, что меня оставила прежняя высотобязнь. Где высота, там, понятно, и возможное падение, – даже моя мысль избегала сугубой возвышенности, подчас и, взмывая, оставалась в некоторой мере приземленной. Падать мне приходилось многократно, даже и не споткнувшись, – а с небес еще как можно рухнуть под тяжестью цепких и обременительных законов мироздания, на которые, случалось, обижался. Это было постоянным свойством моей жизни: годами скопленная удача будто разом уходила сквозь пальцы, и я оказывался наг пред существованием. Разумеется, на данное свойство я много досадовал, но, коль подумать, оно было вовсе не дурным, мешая впасть в жизненный ступор, всегда призывая к обновлению, что становилось обязанностью, а не просто бытийной добросовестностью. Признаю, что я был по жизни склонен задремывать.

Надо сказать, я пока что обрел небеса не в их идеальном смысле, не как проекцию духа, не пространство, распахнутое грандиозным видениям человечества, которым на земле даже негде притулиться; где понятия «высь» и «возвышенность» обращаются в синонимы. Оно было свободным от плотных для ума идей, реальных до мерзости, и навязчивых прообразов, – как я мог предположить, воспитанный книгами, – то есть оказалось лишенным какой-либо предвзятости. Я стал одинок в полном смысле, не обнаружив поблизости безымянных духов, коих я долгие годы то шугал, то приманивал. Или те от меня отступились, или же обитали в пространствах повыше моего третьесортного поднебесья. Не будучи суеверным, я все ж всегда верил в реальное существование нематериальных форм жизни. Человеку, как сказал, вполне начитанному, даже с переизбытком книжного знания (оно мне подчас казалось обременительным, но была в нем и некоторая эвристичность, – правильно я употребил это слово, друг мой?), мне были известны их классификации различными духоведами. Однако я сам-то был уверен, что существуют духи вне любых классификаций, избегающие нашей мысли и какого-либо зрительного представления. Это не в обиду тем самым духоведам, среди которых, разумеется, есть люди куда более чуткие к нематериальному, чем я. Однако наименования почти материализуют эти слишком деликатные формы, тем их делая будто неравными самим себе. Я предпочитаю свою интуицию, когда нечто слегка брезжит в тумане, оставаясь невысказанным, отчаянно сокровенным. Надо признать, что прямолинейный в сфере жизненного обихода, я в сфере чувств, наоборот, извилист, можно сказать, уклончив.

Таким образом, я ощутил не «вознесенность» над миром страстей человеческих, а просто непривычную легкость, даже некоторое своеволие, как свободу любых перемещений, не спровоцированных земными целями и нуждами, да еще под всегда утомительным присмотром ближних и отдаленных с их навязчивыми взглядами хотя бы искоса. А также от норм приличия. Не то чтобы захотелось исполнить свою детскую мечту безнаказанно поплевать откуда-нибудь сверху на головные уборы и лысины прохожих, но, раньше склонный к вуайеризму, я не удержался заглянуть во все окна соседних домов. Вовсе не увлекательно, хотя и пришлось наблюдать сцены, которые мне прежде показались бы соблазнительными. Теперь же вместе с плотью от меня отошли (или я отошел от них) все грубые соблазны, притом что я, бесплотный, сохранил ментальные признаки пола (куда уж мне до ангелической бесполости) и вполне выраженные – в самом стиле мышления и чувствования, как привычки телесного существования. Мне лишь приоткрылась скучная жизнь нынешнего человека, недостойная подробного рассказа, поскольку стандартизирована до последней меры, вся опутанная бытовыми ритуалами и повседневными обрядами. Можно сказать, что человек в целом, независимо от пола, стал для меня вовсе не соблазнителен. Его-то душа куда подевалась? Может, атрофировалась за ненадобностью или, скажем, расползлась по всему телу, став с ним едина, лишь стимулируя чувствительность органов.

Тут мой внутренний критик, педант и зануда, с которым мы отнюдь не расстались в моем нынешнем виде, меня укорил и за бытовой вуайеризм, а более – за немилосердие к малым сим,

которые доступны столь человеческим чувствам, как любовь, жалость и страх. Я был вынужден с ним согласиться, признав, пусть и неизвестную ими, отчаянность их существования, его в полном смысле трагедийность. Да и кто я, собственно, такой, чтобы на них поплевывать со своей невеликой высоты, даже и фигурально? Мой критик бывал всегда прав, что меня вечно угнетало.

Надо сказать, – я в этом убедился, – что моя, теперь свободная от плоти душа сохранила качества всех органов чувств, кроме осязания, мне присущих в телесной жизни. Их чувствительность даже возросла – зрение стало зорче (притом что пока не открылось духовное око), слух острее, обоняние чутче. Другое дело, тактильность (к ней отнесу и вкус в его физиологическом смысле), целиком телесное чувство, предполагающее в первую очередь прямой контакт с другими особями или ж иной субстанцией, не считая, разумеется, всякого вида самоублажения. С одной стороны, оно дарило самые острые радости, с другой – это средство подчинения человека человеку; имею в виду как пытку, так и искушение, в том числе и чревоугодием (напомню, что в троглодитские времена перволюди и друг друга норовили попробовать на вкус), каковому смертному греху, правда, я был подвержен менее как минимум пяти остальных, – то есть кроме, пожалуй, зависти. (Живущим я действительно никогда не завидовал, но признаюсь, друг мой, что последнее время стал завидовать умершим. Тем из них, кто спел свою жизнь как вдохновенную песнь, с умом и талантом.) Но вовсе не сожалел об этом наверняка самом человеческом из человеческих свойств, поскольку теперь оказался избавлен от угрозы физического насилия, грубейшей и наиболее острой из всех угроз, которая в конечном счете и есть подоплека исторического неравенства индивидов.

Таким образом, слегка испытав собственные чувства, я решил испытать и свой ум, то есть проверить, способен ли тот воспарить в пространстве ментальном, поднявшись на высоту, пригодную для широких обобщений. К обобщениям я был всегда склонен. Иные бывали удачны, мне даже подчас казалось, что общее мне доступней частного, что, может быть, обедняло жизнь, где я с годами приучился видеть, как уже говорил, в основном урок и назидание. Класс за классом проходя школу жизни, я из нерадивого стал довольно-таки прилежным учеником. Ты ведь признаёшь, друг мой, что я способный мыслитель-дилетант? Но, как-то дерзнув выше меры своей, что ли, возможности постижения, я потерпел драматическую неудачу, попытавшись уловить самое средостение своей эпохи, найти образ гения современности – даже не в философском, в качестве какой-либо теории или в виде некоего текста, а в самом прямом, зрительном смысле, что наглядней всего.

Замысел, как теперь понимаю, был чересчур простодушен и метод его осуществления наивен. Знакомый художник, в своем деле тоже самоуверенный дилетант, уворовывал внешние черты современных гениев, именно тех, кто своей мыслью и творчеством определял нашу эпоху, из коих мы с ним на пару складывали пазл, творя, как нам казалось, истинный лик современности иль животворный миф, вопреки ее гнусным или попросту нудным частностям. Надо сказать, что наша цель была гуманна и благочестива – не унижить, а превознести свой мир, прозреть великий Промысел в суетной повседневности.

Увы, собрание чисто внешних черт людей истинно великих, как, в общем-то, и следовало ожидать, оказался не органичен, а эклектичен. В лучшем случае, то была маска гениальности, ее профанический образ. Нам предстал пафосный лик, не способный возвысить наши приземленные души, а разве что унижить, фигурально выражаясь, ткнуть их мордой в собственное ничтожество. Возможно, тут была моя ошибка, – не буду спирать на художника, что был лишь моим орудием, – а поиск изначально предвзятым, и под стать современной эпохе вовсе не величавый, а угнетенный, даже поруганный гений, демиург с будто опавшими крыльями. Не спесивый кумир, который нам в обиду, а великий утешитель, способный отереть слезу нашей неизбывной, хотя и тайной печали.

Но не исключено, что моя ошибка была глубже, драматичней и надо было взять в помощники не живописца, а композитора, ибо музыка более сродна духовному созерцанию: следовало найти всего горстку нот, расслышать сокровенную мелодию среди гомона суетливо становящейся жизни, ее органнй гуд. (Ты знаешь, что опекающие и учительствующие меня всегда уверяли, что я начисто лишен музыкального слуха. Помню, на школьных уроках пения: «Поем хором. А тебе необязательно». Не потому ль я потом и в жизни всегда выбивался из общего хора? Однако у меня в душе будто спрятан какой-то, что ль, камертончик, позволяющий воспринимать музыку вне слуха. Даже, думаю, привычки музыкального слуха мешают постичь самую душу музыки. Помню, как ты, друг мой, зубоскалил над моей безухостью, строя комичные гримасы, когда я пытался напеть хотя бы простейший мотивчик, притом ты не упивался ею, а только пользовался, то есть получал от нее удовольствие сродни почесыванию пяток, что считаю профанацией высочайшего из созданий, иль, верней, постижений человечества, способного искупить его премногие злодеяния.) Не уверен, что удалось бы, но это, кажется, был верный путь. Но, может быть, виной неудачи не моя душевная нечуткость и духовная бедность, а неналичие нынешней современности как целокупности с набором общепризнанных ценностей и несомненных понятий.

Уверен, что уже случались пустопорожние эпохи, куда лишь отдаленные потомки приносили задним числом их якобы имманентный смысл. Но, возможно, те еще найдут и глубоко затаившегося гения нынешних времен, где нам видится лишь отвратная рожа обезумевшего существования. (С тех пор все ужасней делается лик эпохи. Теперь это уже идол с окровавленными губами, требующий человеческих жертв.) А может, мы переживаем вовсе безгениальную, потому обреченную эпоху. Я когда-то надеялся, что некий пророк с тихой обочины мира, до поры пребывающий в сослагательном наклонении, спасет человечество лишь только собственным чистосердечием, беззащитной распаханностью своей души. Нет, он так и не явился, не стал действительностью.

Однако в любом случае моя неудача, думаю, была из тех, что подчас дороже победы. Этот мой труд, как любое бескорыстное усилие и добросовестный опыт познания, был вознагражден обретением насущных, хоть и разочаровывающих понятий. Я убедился в несовершенстве своего ума и ущербности духа, но узрел величие меня превосходящих истин. Понятней не выразишься, друг мой, увы. К тому ж ты мне частенько советовал (или, возможно, я тебе, не помню точно): цени процесс больше результата. Процесс создания апокрифа всегда был упоительным мороком, пусть даже результат ничтожен.

В этот раз я сперва попытался обобщить город, наблюдая со своего первичного эмпирея муравьиную суету мелкотравчатых особей в их скудной повседневности. Признаться, мне и прежде существование отдельной персоны казалось мизерным (знаю, что и сам бывал ничтожен в своей обыденности), другое дело – всеобщий скоп, что обладает даже пугающей силой и необыкновенной живучестью. Обобщенный моим взлетом город мне почуялся холодноватым, несмотря на приметы рождавшейся весны. (Надо сказать, что я всегда остро чувствовал погоду – страдал от жары, испытывал озноб от даже легкого ветерка. Она и проникала мне в душу, которая то становилась пасмурной, то расцветала, как на пригреве подснежник, – обычно это и случалось именно весной. Помню, как тосковал перед снегопадом, а затем вдруг обретал покой среди благолепия торжественно нисходящих хлопьев. То же бывало и пред щедрым летним дождем.) Когда-то, эдак пять-шесть эпох назад, я его ощущал родным, почти домашним пространством. Теперь мы оба стали другими. И его затронул процесс отчуждения всего от меня, меня от всего, меня от себя, его от него самого. Я всегда считал унижительным заискивать пред урби и орби, которые предпочитал отвергнуть самолично, прежде чем те от меня сами решительно отрекутся. Возможно, это и есть смысл моей фантазии о бестелесной жизни. Впрочем, наверняка не главный, но важнейший из второстепенных.

7

Еще в детстве мне удавалось обобщить мой город единым искренним чувством, без малейших усилий еще не окрепшего ума. Это было нечто родное, изначально данное, можно сказать, разверстый учебник жизни, со своими тайнами, зонами тревоги, бывало, что и ужаса (мистическому, экзистенциальному или хрен знает, как его назвать, ужасу я был доступен с довольно раннего детства, предчувствуя какую-то мрачную тайну человеческой жизни, кажется, еще до того, как узнал, что такое смерть и что она неизбежна), притом я всегда был уверен, что он для меня, я для него. Он тогда был компактен, по-своему уютен, кажется, обладал своим единым смыслом. Позже он разнесся по дальним окраинам, стал неохватен для мысли и чувства. Я его потерял уже давно. Не отыскал и сейчас, лишь отметил, что городское тело содрогается в предчувствии скорой беды, в нем ощутил затаенный страх. Пред таким обобщением, все прочие сухи и бесцельны. Меня даже пробрал душевный холодок того самого детского ужаса пред жгучими тайнами мироздания, который давно уже не испытывал, или, может быть, он стал привычным до неощутимости.

Так я совершил свое первое испытание полетом. Пока я обрел лишь, по сути, бескачественные и ненаселенные небеса. (Когда-то я, книжный юноша, представлял, что где-то там, в небе, купаются в эфире совершенные идеи почти физического облика, вольно парят предсуществования. Что там истинная жизнь, не изгаженная плотью. Говорят, душа подобна зрачку в оке, но, видимо, я обрел бесплотное существование незаконно иль преждевременно.) Ни соседствующих духов, хотя бы рожденных моими давними взлетами воображения, ни вообще каких-то зримых образов, только птицы, вьющиеся рядом. Даже ими городская высь будто оскудела. Прежде помню стаи голубей, как диких, так и домашних, белоснежных вестников, которых разбойным свистом гоняли пацаны-голубятники. Давно уже нет голубятен, оттого городское небо захватили черные вороны с их траурным карканьем, словно накликающим беду. А ведь когда-то в соседнем палисаднике ночами пел, наверно, последний городской соловей.

Пора было уже обратиться своим душевным оком к мною покинутому, ныне бессубъектному, телу. Не только из любопытства, но из опаски тоже. Вдруг да на опустевшем месте заведется какая-нибудь злобная химера и этот живой мертвец обернется кровососущим вампиром-беспредельщиком, угрозой для человечества. Почему бы нет, коль я захватил с собой все высшие чувства, как совесть, любовь, милосердие, ему оставив лишь только потребности тела, которые бывают жестоки? Очень даже запросто эту опустевшую обитель могут обжить демоны, коими полнится мироздание. Я-то уж знаю, поскольку те атаковали мою до поры податливую душу коварно и многократно, пока я не заковал ее в гранит, в результате сделав почти непроницаемой для порока, но также и малодоступной для милосердия. В результате я, изначально склонный к любым крайностям, стал, можно сказать, средневзвешенным существом, вполне пригодным для обитания в мире, довольно-таки безвредным. Не источником зла, но и добро, признать, довольно скаречно дозировал. Не то чтоб расчетливо, но как-то само собой получалось.

Устроившись на потолке солнечным бликом, я наблюдал свою отчужденную плоть в ее ежедневном обиходе. И что ж ты думаешь, друг мой? Она будто и не заметила своей нехватки. Бойко совершала обряды рутинного бытования. Во мне даже шевельнулось нечто вроде ревности, как бывает после развода супругов: совсем я, что ль, ей не нужен? Я, что ли, для нее был (или стал со временем) каким-то обременительным переизбытком, помехой ее благополучному существованию, для чего хватало чисто физиологических навыков и жизненных привычек? Собственно, это невеликий набор действий, которые не назовешь поступками, поскольку душа в них вовсе не участвует.

Но ведь и я «в разводе» с собственным телом сохранил как бы свойство автономии, отделенность от всего иного, то есть самодостаточность. Еще в полете я отметил свою компактность. Собственное тело мне прежде виделось тем мешком, ну или, вежливее сказать, емкостью, где вместе с костями и требухой помещается и нематериальное, именно то, что мы называем личностью. А как иначе, если душа так зависима от телесного, слишком уж очевидна их перекличка? Я ведь знал, что она взролеет параллельно телесному развитию и устает по мере ветшания тела. Я даже чувствовал несправедливость в том, что плоть навязывает душе свои нужды и опаски, но все ж та виделась будто покоем, где обитает моя самость. Впрочем, что я не растекался в пространстве, сберег границы личности, могло быть следствием моего сугубого эгоцентризма, который в минуты самодовольства я называл постоянной верностью себе, которой даже гордился.

С некоторым опасением я заглянул в глаза своей отчужденной плоти. Говорят, они зеркало души. Значит, коль душа упорхнула, и взгляд должен опустеть. Жутко было даже представить этот целиком запустевший взор – эти мертвые воды, где не отражаются небеса; пару зеркал, где образ мира никак не согрет чувством. Даже и взгляд палача должен быть не так беспощаден. Но нет, взгляд моей прежней оболочки оказался вовсе не зеркалом ужаса. Скорей, наоборот, был умиротворенным, бесстрастным, однако внимательным, отнюдь не бездонным, а, казалось, весь на поверхности. Он выражал озабоченность бытом, не более того. В нем угадывалась практичность, я б даже сказал, позитивность. Какой уж там вампир? Скорей, благонамеренный обыватель. Но я все же не поверил слишком очевидной внятности взгляда. Бездушная оболочка наверняка податлива к привнесенному злу. Вряд ли она таит мрачные бездны. Не будет источником зла, но уступит злу всеобщему, если то одержит победу над миром. Уверен, что бездумно и бесчувственно примкнет к орде злых победителей. Я даже подумал: не гуманно ли будет мне вернуться обратно в мою затхлую обитель, низойти в материю, даже не вкусив благ освобожденного духа. Но, прикинув и примерившись, понял, что это теперь невозможно. Раньше подогнанные один к другому, как становится по ноге разношенная обувь, теперь, немного вкусив полета, я стал несоразмерен своей бывшей плоти, в нее уже, так сказать, неместим. Это мне подсказывало чувство, а я доверял ему.

Надо сказать, я даже восхитился, с какой точностью и уверенностью мое пустопорожнее тело совершает все бытовые ритуалы. Уверенней, чем когда было едино с моей личностью, обремененной мыслями, влекущими разного рода сомнения. А у него лишь настойчивая сила привычки, многолетний навык. Как ныне чистый субъект, я могу быть и тут субъективен, но мне представилось, что этот прилаженный к быту облеченный плотью вакуум так достоверно симулирует бытование, что вряд ли кто заподозрит о его в таком, может, по нынешним временам и невеликом ущербе, как полное бездушие. Он зримо существовал в отличие от меня, поскольку мое присутствие в мире можно было счесть моей же собственной иллюзией, ибо, как я был вынужден признать, оно вряд ли доказуемо. Моему существованию есть только один достоверный, даже совершенный свидетель, которого призову лишь на Последний суд. Верней, если Он меня призовет.

Можно сказать, что он (оно, если «тело», а если «плоть», то она) был, по сути, гомункулусом, которого я долгие годы возвращал, дрессируя, обучая полезным навыкам, и, видимо, столь хорошо выучил, что он оказался вполне готов к самостоятельному существованию. (Я ведь годами приучал нашу с ним прежде нерасторжимую целокупность применяться к разнообразным условиям обитания в мире, умениям четко входить в любой жизненный паз. Возможно, внутри он стерильно пуст, но в нем все ж сохранен мой отпечаток, след моего пребывания. Интересно, сберег ли он хотя бы жалость к самому себе, что в итоге исток милосердия. Мне вот, в моей еще телесности, когда покинули землю самые родные души, доводилось жалеть самого себя, одновременно презирая за эту постыдную жалость. Но, коль жалеешь себя, сможешь и ближнего.) А мне-то казалось, что я всю свою сознательную или, скажем, ответственную жизнь

занимался другого рода алхимией: творил в некотором роде бумажных героев, их выкраивая из собственной души, ибо, признаться, у меня не доставало интереса к чужим душам и уж тем более к любым коллизиям мне чужеродных тел. Был уверен, что это и есть мое призвание, именно то, для чего я рожден на свет. Я даже не гадал, какая от этого польза человечеству, но любая искренность всегда кому-то и назидание. А героика, даже и бумажная, послужит кому-то примером, глядишь, кого-то и вдохновит. Мне вряд ли удавалось уплотнить образ этих героев до полного жизнеподобия, возможно, поскольку материал был чересчур субтилен. К ним даже не приставали имена, тут же отваливаясь. В моем воображении те были и вовсе неопределенны, избегали хватки моих ума и чувства, перетекали один в другого. Потому я их прилежно оттискивал на бумажных листах, создав галерею, музейчик бумажных сущностей, всегда припахивающих целлюлозой.

Теперь же случилось нечто обратное: пожалуй, сам я готов превратиться в бумажного героя, пригодного, чтоб его пришпилить к писчим листам коль не иголкой, как недавно порхавшую бабочку, то пером, сделать литературой, засевая бумажный лист буквами, которые сочтутся в слова, которые рожают смыслы, которые... Что ж дальше? Которые, скажем, ведут в некую даль, без чего застоишься, загниешь, растеряешь уже последние остатки жизненного порыва. Что ж, по нынешним временам не худший удел – так избежать неуютного бытования, непричесанного, всегда ершистого, прикрывшись бумажным листком, будто фиговым. В конце концов, это разумный, хоть, может, и слишком экзотичный порыв раствориться в культуре, себя представив в некотором роде литературным произведением. (Или, может быть, лучше сказать, вывернувшись из всеобщей истории, которая ныне совершает очередной кровавый курбет, остаться лишь в своей личной.) То есть сперва воспарив превыше муравьиной жизни, затем нырнуть в текст, там себя укутав словесами, над которыми, конечно, не волен до конца, но те все же податливей материального существования. Потому теперь и стараюсь себя уловить сетью буквосочетаний (может, они и не сеть, а блесна, наживка, приманка), примостившись у западного окна в ожидании подлинного вдохновения, что всегда награда за терпеливость и дар благодати. Иначе зачем бы такое бессмысленное занятие, как письмо, лишь отвлекающее от поступков, притом в наше время не приносящее ни чести, ни достатка? А к благодарности потомков я был всегда равнодушен, поскольку тогда уже пребуду в пространстве иных забот, если вообще пребуду. Разве что кто-нибудь из живущих благодарно помолится за меня простодушной молитвой, которую, уверен, расслышу и в любых эмпиреях.

Я сам готов обернуться текстом, причем эпическим, хотя б эпос был и чисто индивидуальным. Можно казать, что я заслоняюсь поэзией от прозы жизни. Чувствую цокающий ритм, хоть и сбивчивый, но дающий себя вновь расслышать или же мне расслышать себя. Ну а рифмы – нерегулярные, но ощутимые повторы ситуаций иль, верней, жизненных конфигураций, нечто толкующие намеки.

Забегая мыслью вперед, могу тебе сказать, друг мой, что сей гомункулус оказался и впрямь совершенным андроидом, мечтой любого алхимика. Мне пришлось его наблюдать во всех жизненных проявлениях. И – ни единого прокола, полная жизнеподобность. Особенно в общении с иными особями. Не только мои дальние знакомцы, но и друзья так и не заметили моего отсутствия. Никто и не догадывался, что за этой вполне благообразной оболочной (это ведь не какой-то выкидыш моей мысли иль злобноватая в отношении себя же фантазия) ничего не стоит – ни страстей, ни милосердия, ни покаяния. Но также пока и зла. Для общенья он был наверняка удобней, чем я, – за его дружеским столом всегда царило согласие. (Может, и души моих друзей и знакомцев отлетели еще раньше моей, я же по ротозейству того не заметил. По крайней мере, с моим андроидом они подчас выглядели близнецами из одной пробирки. А я, как себя ни смирял, мне так и не удалось до конца избыть своей непредсказуемости, что временами выплескивалась в мир. Он (она, оно) же был во всем умерен и всегда предсказуем; выражал мнения совсем не глупые, как вовсе не глупы общие места, свойственные среде, в

которой мы раньше пребывали совместно. Его эстетические вкусы были вовсе не дурны, политические взгляды – взвешены и даже не без оттенка благородства. Их трудно было оспорить, но с подобными мне никогда также и не хотелось соглашаться, кивая, как китайский болванчик, набору прописных истин.

От моего ума у него и следа не осталось, однако он сохранил, грубо говоря, паттерн того общественного круга, где мы с ним сколько уж лет обретались. Этому можно было и порадоваться: получалось, что я захватил с собой в полет все индивидуальное, ему оставив общие места. (Как думаешь, друг мой, не забыл ли я прихватить дар слезный как самый искренний ответ на все загвоздки бытия? Моему андроиду он точно не пригодится.) Короче говоря, я похитил его (прежде наш общий) ум, но ему оставил умственные привычки. Как я ни принохливался, от этого мужчины, благообразно заматеревшего в своем среднем возрасте на последней грани жизненного цветения, вовсе не пахло тленом. Угрозой миру могло стать не зло, притаившееся в глубине пустопорожнего образа, а именно его хищный вакуум, готовый за неимением своего уворовывать чужое без разбору. Но, может, я его зря демонизирую, и внутри него не вакуум, а свалка книжной трухи иль кипы кем-то исписанной бумаги. Впрочем, литературные фантазии бывают еще как опасны.

8

Отмечу, что андроид унаследовал от меня чувство юмора – или, по крайней мере, его видимость. В юности у меня оно было даже переразвитым, – был смешлив до крайности. В кинозале на самой простецкой комедии ржал так, что возмущались соседи. С годами стал более разборчив – предпочитал юмор тонкой улыбки, а не утробной ржачки. (Я уже говорил о своем чувстве юмористичности мироздания. Еще добавлю, что и в отношении себя самого я был способен на улыбку. Это бывало, когда удавалось на себя взглянуть будто со стороны, как на другого человека. Все ведь мы смешноваты, вечно суется и заботясь о ненасущном; в своем постоянном стремлении к первенству, чему подвержены даже самые возвышенные души и выдающиеся умы.) Мой андроид острил вполне пристойно, хотя мог, когда надо, и матерка подпустить, и всегда уместно – не выше, не ниже понимания собеседников; на чужой юмор отзывался чутко, прилежно смеялся своим слегка механическим смехом. Притом он еще обладал некоторой любознательностью. По крайней мере, смотрел теленовости, временами иронически хмыкая, будучи, как я понял, по своим взглядам умеренным либералом.

Книг он, разумеется, не читал, но внутри него все-таки привычно шелестела некогда мной усвоенная книжная премудрость. Правда, солидные тома наверняка подрастеряли страницы. Собственно, от всего прочитанного у него сохранился, уверен, лишь тощий сборничек цитат, но это был довольно-таки умело собранный лексикон житейской мудрости на все случаи жизни, – ну и, понятное дело, для умной беседы. Я сам же его когда-то и составил, цenia именно прописные истины, которые мне всегда плохо давались, хотя, возможно, отвеял зерна, оставив только плевелы. К тому же он, как паук, уверенно елозил по Всемирной паутине, там добывая, уж не ведаю, какие знания, но, видимо, с той же целью – не отставать от обыденности.

Более того, он от меня унаследовал тягу к бумагомаранию. Исписывал ровно по три листка в день, видимо, установив себе такую норму. Сперва я решил, что его цели чисто утилитарные. Тут бы ничего удивительного: сам я был великим мастером деловой переписки. Не знаю, от каких предков я унаследовал этот дар, вроде б не соответствующий моей натуре, но уверенный и всегда уместный канцелярит моих заявлений, заявок и прошений просто завораживал полномочных лиц, на них отзывавшихся с неизменной благосклонностью. Уж в этом-то жанре я был безусловный мастер.

Но нет, литературные опыты моего андроида были вовсе иного рода. Как-то заглянув через его плечо на бумажный лист, исписанный каллиграфическим до отвращения почерком

(в отличие от моих каракулей), я убедился, что он сочиняет не склочные бумажки, а, так сказать, творит литературу. Ну что ж, и «искусственный интеллект» пописывает стишки, подчас даже и неплохие, – видел как-то. Теперь слишком чувствительный к пошлости, я, разумеется, не стал подробно читать произведения моего биоробота. Однако готов предположить, что они, сочетая навык стиля с полным отсутствием мысли и чувства, притом соответствуя срединному вкусу, будут иметь успех у довольно широкого читателя. По крайней мере, побольше, чем мои эгоцентричные медитации. (Всегда считал, что литература ущербна, даже и вовсе тщетна, если в ней отсутствует некое волшебство. Понятное дело, тому неоткуда взяться в его словотворчестве, коль оно таится в интимнейших глубинах души, у него вовсе отсутствующей. Вот в моих ранних порывах письменности только волшебство, пожалуй, и присутствовало, – с тех пор его сильно ubyло. А думаю, даже и не самый глупый читатель предпочтет в книге литературу без волшебства волшебству почти вовсе без литературы.) Я всегда хотел будто продырявить условным пером бумажный лист, его протереть насквозь, чтоб на месте унылых слов зияли прорехи. Притом понимал, что те будут подобны черным дырам, откуда в мир не пробьется даже лучика света, а мне лично это вовсе грозит безумием. Тогда я прославлял безумие творческое, но страшился, так сказать, натурального (мне подчас казалось, что оно где-то совсем близко, вот-вот настигнет), пахнущее лечебными средствами и дурным духом больничной палаты. Я предпочитал симулировать безумие, изобретая диковатые сюжеты, почти произвольно перемешивая мысли и образы. Но сочиняя неукротенные миры, его передоверял, так сказать, своим субподрядчикам, субдемиургам, несколько от них отстраняясь, тем соблюдая свое жизненное здравомыслие. Они, правда, подчас пакостили мне исподтишка, казали кукиши, ставили подножки, сбивая твердую, даже самоуверенную жизненную поступь.

Все это зная, спросишь, друг мой, огорчила ли меня механическая графомания моего телесного двойника, коль его творенья будут подписаны нашим общим именем? Ну если и так, то у меня все равно не доставало плоти, чтоб от нее удержать его бойкую руку. Возможно, нас с ним ждет литературная слава, мною вовсе не заслуженная. Еще хорошо, что он не избрал деятельность в таких сферах жизни, как политика и финансы, к которым я всегда испытывал брезгливость. Почему бы нет? Дисциплинированный и точный в поступках, не обремененный излишней мыслью и душевной смутой, он мог бы еще как преуспеть. А ведь именно в них, по общему мнению, можно стяжать очевидную жизненную удачу, которой он вместо меня смог бы расплатиться с родными душами за их веру в мое предназначение. В связи с этим я подчас задумывался, успешна ли моя жизнь, но не мог найти точного ответа из-за неясности критериев, какими возможно оценить мною избранное существование, его как бы нечислимость.

Также добавлю, что он, как и я, сохранил признаки пола, у него, разумеется, более очевидные, грубо материальные, тогда как у меня – в устройстве ума и чувства. Не скажу чтоб он был похотлив, но вовсе не оказался монахом. Я всякий раз стыдливо отворачивался от зрелища его плотских утех (никогда не был ханжой, наверно, даже и слишком, – однако, и при моем вуайеризме, наблюдать его интим – это уж полное извращение), в которых мне виделось нечто мерзкое – словно инкуб, живой мертвец, насилует земную женщину, да еще мне хорошо знакомо. (Страсть, надо признать, он изображал виртуозно, у него она выглядела достоверней подлинной.) Возможно, тому виной моя остаточная ревность, хотя в своем земном существовании я не был слишком ревнив. Но в данном-то случае дело вовсе не в «физической измене», а в том, что моя давняя подруга, пожалуй, последняя жрица некогда учрежденного родными душами, а потом низвергнутого культа моей личности, так вроде ценившая мою чуткую, как она считала, душу, прозорливость и оригинальность, как она полагала, моего ума, даже и не замечает их нынешнего отсутствия. (А сама она не фантом ли, сотворенный моими упованиями, заблуждениями и самолюбием? Не потому ль тянется к моему андроиду, как подобное к подобному?)

Возникла тревожная мысль, что я был ею почти целиком вымыслен. Я-то ее влюбленный взор считал довольно правдивым зеркалом, – притом что моя подруга была весьма тре-

бовательной к своим партнерам, или нам обоим так казалось, – лишь чуть выпячивавшим мои достоинства и немного скрадывающим недостатки, а тот оказался чем-то вроде парадного портрета, наделявшего любое ничтожество (тут в самом прямом смысле) признаками величия. То есть я в своей прежней целокупности был только лишь поводом для ее чувства. По сути, она и была влюблена в фантом, собственную фантазию. Такое вот не слишком приятное открытие. Ну что ж, возможно, с моим бездушным двойником она обретет счастье. Мои-то с ней отношения были путаными, как во всем у меня избыточными, переусложнены и неоднозначны.

Тут, конечно, был виноват только я сам в своем недостатке чувства, переизбытке мысли, короче говоря, как в избыточности, так и в дефектности собственной натуры. Я, как мне и всегда было привычно, пытался укротить сложность путем безжалостной редукции. Возможно, я ее низвел до набора свойств, тем и себя обращая в их конгломерат. Впрочем, растерянный и будто ищущий взгляд, которым та подчас обводила комнату, мне оставлял надежду на ее хотя бы смутную догадку, что где-то поблизости витает суть, истинное естество того тела, что годно лишь для плотской утехы. Может быть, именно ради него она посещала это безблагодатное жилище. Вынужден признать, что я вольно или нет боролся с «женским» в своем существовании, – столь могучие, одновременно манящие и пугающие женские образы прозревал как у его истока, так и у неизбежного исхода. Так что, выходит, мой бездушный двойник предавал поруганию не только некогда родное мне, изученное до мельчайшей подробности тело, но и мою мечту, стержневой образ насущнейшего мне апокрифа. В любой ведь женщине, даже и самого незамысловатого душевного устройства, мне мерцала моя сумрачная матушка – пролог и эпилог жизни, – наделяя женщину своей непреложностью. Так же, как и у тебя, друг мой? Но об этом поговорим когда-нибудь позже, если оба решимся... А возможно, в каких-то высях, коль я когда-нибудь их достигну, среди великих обобщений, мне явится Женщина как общая идея, но вряд ли в ней будет теплота и уж точно не будет никакой интимности. И все ж мне явленную идею Женщины я узнаю в любом ее обличье.

Короче говоря, вот простейшая формула. Довольно-таки верные умственные привычки + хорошо усвоенные моторные – сомнения, заблуждения, колебания, короче говоря, все приметы живого, а не искусственного разума = совершенный андроид, прекрасно отшлифованный жизнью объект, для всех удобный и сам комфортно расположившийся в мире. Тут мой дотошный подголосок мне напомнил, что мир необъятен. (Продираясь сквозь сложное, я часто забываю о простейшем.) Ну конечно же, я имел в виду мирок небогатого пребывания, очерченный скудным воображением, простейшими целями. Но в этом скукожившемся универсуме, где, собственно, любой из нас и пребывает, лишь изредка (да и то не все) выходя за его пределы фантазией иль помыслом, поступь этого бездушного гоминида и должна быть четче, прямее, чем мой всегда вихлявший шаг. Как ни старался примениться к миру, я вечно отклонялся от собой же проведенных линий, – не сказать, что я был расчетлив, но с годами стал довольно предусмотрителен, обрел привычку расчерчивать мир некоей предваряющей геометрией, чтоб не споткнуться, ибо стал не уверен в своем шаге даже в самом прямом, физическом смысле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.